

Ариадна Корнилова

ГЕРБАРИЙ

Древние хоронили с умершим всю его утварь: наши вещи предадут нас, попадая в чужие руки.

«Не читайте письма на улице и в трамвае», — требовал Гнедин от своей ученицы, а через полвека сотрудница музея скажет Ане: «Читай, это теперь литература».

Запрет, живший с детства: не соваться в чужие бумаги. Но в музее все по-другому, неподвижные экспонаты оказываются теплыми и живыми, если к ним прикоснуться. Картины — как книги на стеллажах. Валя улыбается Аниному восторгу — она-то работает здесь уже три года.

— Ты сиди, а я схожу на обед к бабушке.

Валя художница. Аня тоже рисует. Немного. И редко. Слишком уж изматывающее занятие.

«8.10.1945. Понедельник. Письмо первое.

Проснувшись сегодня утром, подумал словами поэта: “Скоро осень проснется и заплачет спросонья...”»

Старый художник, невесть за какие грехи сосланный в Сарапул. Валя обещала принести еще машинописный сборник его стихов, которые когда-то, до революции, открыли ему двери петербургских литературных салонов.

«И опять я подумал: сегодня будет письмо от Мили!»

Миля. Людмила Полстовалова. Старинная фамилия. Ее мать в свое время удочерил местный купец. Этот нищий город помешан на купеческом прошлом. И еще — именно отсюда Дурова удрала в гусарский полк. А Миля по совету учителя — в Свердловск, в художественную школу.

«Восемь часов вечера. За окном ночь, как чернила. Я сажусь за стол, Кульбик ложится на кресло сзади меня, и я читаю письмо».

Кульбик — дворняжка, единственное существо, оставшееся у Гнедина после смерти жены. И еще отдушинка — Миля.

«Собственно, я уже знаю его наизусть, знаю даже, как Вы его писали и, торопясь, приклеивали марку и что подумали, делая приписку карандашом».

Полвека с лишним. Как мало. Вселенная взмахнула ресницами. Женская школа, в которой училась Миля — вот она, в квартале от музея. Бывшая гимназия. Через несколько лет здесь будет учиться мать Анны (Стас говорит: «И моя мама ее тоже окончила»). В прошлом году мать затащила Аню показать паркет, перила, с которых съезжала когда-то, огромные люстры. Не для Ани — ей самой было важно увидеть все снова.

«Итак, здравствуйте, милая девочка! Спасибо за письмо. Оно, правда, коротко и немного суховато, но я представляю себе условия, в которых Вы его писали... тем более Вы даже не были уверены, что я отвечу на него».

Господи, сколько же ему! Лет пятьдесят семь — шестьдесят. Миле — семнадцать.

«Двадцать седьмого сентября я с десяти часов начал ожидать Вас, готовил чемодан и пел песни. Вы не пришли! В четыре стук. Миля? Нет, Сима: “Миля велела дать чемодан, белила и рамку”. Я политично спросил: “А больше ничего Миля не говорила?” — “Нет, не говорила”. — “А что она делала утром?” Сим-Сим тонко улыбнулась и ответила: “Так, ничего. Собиралась”. Я подумал: значит, буду лишним, и просидел вечер дома. Утром двадцать восьмого еще раз подумал: “А вдруг Миля придет проститься”. Но она не пришла... Двадцать девятого провел день тихо и мирно, а первого обругал стихи московского поэта, пришедшего их мне читать, и напился. Нехорошо и глупо!»

Аня начинает пролистывать письма, сложенные когда-то треугольником. На обороте среди штемпелей: «Просмотрено военной цензурой».

Приходит Валя и обстоятельно рассказывает про какую-то тетю Симу, подружку своей бабушки. Читать и одновременно слушать ее невозможно.

— Слушай, ты дашь мне домой почитать?

Валя мнется, Аня понимает всю несуразность просьбы и настаивает еще азартней.

— Давай после Нового Года. Я тебе еще ее работы покажу.

Огромная папка, каждый лист в отдельном конверте. Очень много макетов книг. Мелкие, точные рисунки. Вале не нравится: слишком академично.

— Она что, книги иллюстрировала?

— Да, в каком-то свердловском издательстве.

— Так она не в Сарапуле живет?

— Нет. Она умерла в девяносто третьем. А это ее сестра, тетя Сима. Акварельный портрет, молодая женщина на фоне большой реки.

— Тетя Сима?

— Я ведь только что про нее говорила. Она и передала все это в музей.

Какая-то старуха, у которой нет никого из близких. Сим-Сим из гнединских писем. И этот портрет перед Анной. Они живут и ничего не знают друг о друге. Как лица игральные карты, смотрят в разные стороны, разделенные чертой зеркал.

До после-нового-года Анна бы сто раз прочитала эти письма и забывала про них.

«Даже в Вашем домике, когда я пришел в него и сел на крыльцо, мне казалось, что вдруг послышится Ваш голос, а Сим-Сим крикнет: “Миля, А. Ф. пришел!”»

За учебными пейзажами (избитые сарапульские виды) — в папке свежие нечитанные детские книжки. Агния Барто. Вот он — маленький домик причудливой архитектуры, буйная зелень. «Тише, Танечка, не плачь»... Мячик ведь совсем не тонет.

На последней странице: «Рисовала Л. Полстовалова».

«Аленький цветочек». У Ани в детстве была точно такая же. Не может быть. Или? Даты сходятся: Семьдесят второй. Ну да, да. Стар-

шей сестре было четыре года, предки жили тогда в Свердловске и покупали ей, а потом уже все досталось Ане. Она смотрит на рисунки — только что видела их в эскизах — и пытается вспомнить все эти тонкие книжки, истрепанные, сшитые отцом в один толстый том, — неужели именно из этих иллюстраций, скупых, неярких, расцветали — волшебным и страшно — грезы.

— Почему посторонние в фонде! Немедленно выйдите!

Кто-то из сотрудниц застал Аню на месте преступления.

— И из зала выйдите! Где Валя!!!

Появляется Валя, улыбаясь. Музей вообще сегодня закрыт, меняют экспозицию.

— Посмотреть хочешь?

Но Аня уже перебрала музейной пыли.

Экспозицию меняют к новому веку, а ей не верится, что тысячелетие кончается. Сколько людей опишут потом эти дни в романах, а она — как будто предала столетие, в котором появилась на свет. Великолепный мой век, сквозь завесу звезд, когда сядешь за стол писать воспоминания, улыбнись ей, она твоя дочь — Аня теперь совсем, совсем взрослая, ты не окутаешь ее своим теплом, не защитишь — и медвежья шкура спадает с плеч Чудища.

Как связать Милю и ту волшебницу, что лишь очертила силуэты снов, щедро предоставив ребенку заполнить их самому?

Аня просит у директора музея официального разрешения поработать в фондах:

— А то Вале влетит за меня, наверное.

— И правильно влетит, — смеется он. — Да, разрешения-то у нас платные.

— Мне на пару дней всего, — хнычет Аня, у нее привычка получать все на халяву за красивые глаза.

— Давай после Рождества, я занят.

Ох.

После Нового Года выяснилось, что письма и не оформлены в музей, принадлежат лично Вале:

— Я у нее рисовать училась, она все мне передала — краски, этюды. Кому-то надо было оставить. У меня еще много чего из ее вещей есть.

Она уже давала знакомым почитать эти письма.

— Один, режиссер типа, все порывался что-то из них сделать. Он сказал, мол, Гнедин заразил Милю своей грустью.

Стоп. Сейчас ощущения Ани будут забыты чужими намерениями. Но, претендуя на немедленную справедливость, как Лис на ласку Маленького принца, письма влетают в ее жизнь. Ранней ночью на кухне Аня рассказывает обо всем Стасу, пытаясь понять, что они ей?

Она все-таки получает эти письма на неделю.

«И в Вашей комнате все то же, только угол пустой, и Сим-Сим, поднимая свою тонкую мордочку от книги, говорит мне, как взрослая дама: “Вам, конечно, скучно у нас без Мили, я вас ничем не могу занять!” Это так очаровательно, так она мила, эта Сим из книги Марка Твэна¹. Я не простился с Вами, но мне от этого не грустно, потому что... пусть Вы теперь далече.

Я рад тому, что были наши встречи,

И что разлуки не было совсем. (Я)

Я признаю только одну разлуку, но пусть ее не будет подольше, потому что хочу видеть, как Вы вырастаете, то есть видеть не то, как Вы будете большой и рыхлой дамой, окруженной кучей ребятишек, а то, как вырастет Ваш талант».

Рыхлой дамой она не будет. На фотографии — сухощавая внимательная женщина в очках. И детей у нее не было — замужество получилось коротким и неудачным, повторять не стала. И у Симы, Сим-Сим, нет потомства.

«Нужно выдержать только эту зиму, она будет для Вас очень трудной. Милая девочка, держитесь твердо, не давайте воли своим нервам. Я советовал Вам писать дневник, то есть записывать все свои впечатления, успехи и ошибки — Вы привыкнете мыслить связно, выработаете литературный язык».

Каких советов и оправданий для себя самой ищет Аня в этих письмах?

«Читаю каждый вечер книгу “Чистяков и его педагогическая система”. Со следующего письма постараюсь сжато изложить Вам систему этого замечательного педагога, учителя Репина,

¹Здесь и далее сохранена орфография писем. (Авт.)

Врубеля, Поленова... Возможно, это поможет Вам избавиться от некоторых ошибок и заблуждений в случае возможного быть неудачным руководства».

Ее наставника звали Павел Валентинович, и он так же, как Гнедин — Милю, стремился научить Аню не только профессии — жизни.

«Продолжайте начинать каждую работу без очков, так лучше, детали не будут Вас беспокоить. Заканчивайте в очках. Я уже говорил об этом, напоминаю еще раз. Работайте усиленно, тоска по дому пройдет: значит, лето дало много такого, с чем жаль расстаться.

Воздержитесь брать работу до лета. Работа дает мало, почти ничего, а повредит много. Может быть, я скоро встану на ноги, тогда поговорим серьезно. Зарабатывать я должен немало, но сколько, пока не выяснилось. Постараюсь поделиться с Вами, хотя б немного».

Аня сцепилась с Павликом сразу, как только поступила в техникум. Третьего сентября он пришел к первокурсникам и как ответственный за ТСО (технические средства обучения) прочел лекцию о несовместимости металлических набоек на каблуках и нового паркета, длинных ногтей и клавиш клавиатуры. Аня: «А как же Пушкин — быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей?» Он обхаял и Пушкина, и ее.

Потом они помирились.

«Меня рассмешила Ваша страсть перекрашивать вещи в другие цвета. Но окраска этюдника — это неудачно, ведь ящик-то дубовый, что и ценно. Выкрасить надо было заплату под дуб, а ящик вымыть керосином. Это то же, что красить губы, ногти и т.д., это фальшь и кокетство, не сердитесь на замечания или уж будьте последовательны: выкрасьте руки под коричневые лайковые перчатки. Смешно? Конечно, но последовательно. А бабушке умывальник Вы не выкрасили? Вот это надо было бы».

Ане было четырнадцать, Павлу Валентиновичу сорок четыре. Она не считала, что если он в три раза старше — в три раза умнее. За что

уважать взрослых — за то, что родились раньше? А что, это их заслуга?

Не то чтобы в роли enfant terrible есть свой шарм, но Аня не знала, как иначе отстоять себя от любого чужого влияния, какими бы намерениями оно ни искрилось. Вряд ли глыба мрамора была благодарна Пигмалиону за то, что ее искромсали.

«Не удивительно, что Вас находят пополневшей и выросшей. Вы выросли и из девочки стали... барышней, и я начал терять с Вами общий язык. Болтал-то я за лето много, т.к. Вы больше молчали, и видел, что часто Вы меня не понимали и особенно не поняли или оскорбительно для меня поняли, когда поставили на одну доску с Н., о котором рассказали мне вечером на Юрманке, помните?»

Аню спрашивали: «Ты дочь Павла Валентиновича?» — «Нет». — «Племянница?» — «Нет». — «Любовница!»

Потом все привыкли, что вместо лекций она пропадает в его лаборатории. За стеклом стояли фотографии прежних студенток; длинноногие и молчаливые, они приезжали на день техникума, и тогда Ане не было места в кабинете. Одной из них, Леночке, П.В. регулярно названивал в Ленинград (а иногда ездил), и Аня удивлялась, как его жена — она была главбухом здесь же, П. В. посылал Аню отнести ей подаренные ему цветы, — все это терпит.

«Уже ночь, беседа моя с Вами затянулась. Кульбик похрапывает на кровати, а на своем кресле у двери сидит девушка, и я веду с ней простой дружеский разговор. Она слушает и молчит. О чем она думает? Не знаю. Но я привык к ней и, когда бываю совершенно одинок, всегда думаю о ней с нежностью.

Ну, вот и всё, пора и спать! Жму вашу руку. Пишите скорейча!»

Отец Ани с назойливыми кавалерами не разговаривал — дрался. П. В. был снисходительней:

— Что естественно для одного, безобразно для другого, — парирует Аня, возмущенная очередным непрошеным комплиментом.

Она просто не знала, зачем разговаривать с парнем, если он ей не нравится. А того, кто нравился, — только что выперли за драку из

престижной республиканской школы, где они вместе учились раньше, он уехал обратно в село; больше она его не увидит.

— Надеюсь, ничего кроме поцелуев...не было? — осторожно спросил П. В.

— Хоть поцелуи были — спросите? — Аня со всей горечью.

— Полегче, не бей по клавишам, — заметил он и ушел.

«Письмо второе. 12.10.45.

Сейчас иду по улице, а на улице тьма, ветер, осенний дождичек, и представилось мне, что в такую же ночь возвращаетесь Вы домой после работы, усталая, и думаете о Сарапуле, о домике, в котором за столом сидят бабушка и Сим-Сим и вспоминают о Вас. И жаль мне, что Вы одиноки, и хочется мне перед сном немного поговорить с Вами».

Шестой час, пустой техникум, скоро пора уходить. Аня сидит в кресле и смотрит, как П. В. паяет какие-то переходники. Он драконил ее за то, что она не желает мыть пол в кабинете: «Зачем мне такая помощница! Не знаешь, где что лежит — Лариска всегда знала!» Но именно эти вечера, когда он молча слушает ее или рассказывает сам, притягивают Аню.

П. В. пытался просвещать Аню — среди книг по информатике в его столе лежат пособия по технике секса. Аня презрительно отказалась. Она уже успела проштудировать их без спроса.

— Ты себя потом дурой назовешь — что меня не слушала.

— Я? Себя? Дурой???

Иногда она защищается, не понимает:

— Мне только четырнадцать!

— Извини. Я все забываю, сама виновата — на таких каблуках ходишь.

Высота каблуков и впрямь впечатляет.

И только редкое: «Что бы я без тебя делал?»

— Жили бы спокойно, я ж не подарок, сами жалуетесь.

— Знать, что ты меня ждешь... Я уж с ума сходил от одиночества, а тут ты.

«Здравствуйте, милая девочка! Я возвращался из горкома партии, куда вызывали меня на совещание. Я опоздал, т. к. болен.

Пришел туда в одиннадцатом часу, поговорил с кем нужно и, идя назад, в темноте думал о Вас. Чтобы скорее получить от Вас известия, решил написать Вам, не дожидаясь ответа на мое письмо. Меня на днях нарком просвещения вызвал в Ижевск на десять дней для устройства выставки, но я болен, выехать в теперешних условиях поездки по железной дороге (на подножке) для меня было бы жутко, и в горьком мне сказали, что я останусь здесь. А работы, по-видимому, будет немало».

Анна отработала год оформителем в крупной торговой фирме, где, будьте любезны, каждому завмагу (а их больше пятидесяти) сделать праздничный плакат и пятнадцатитиметровый лозунг на здание конторы ко всем престольным датам. А когда уже сатанеешь над последним транспарантом, прибегает дамочка из городской администрации с новым списком — для города. Анна на дыбы: «Не буду, не успею!» — «После работы останешься, все равно потом отдыхать».

Поняв, что на следующий год все то же, — она уволилась.

«Десятого был у Вас, бабушка, по обыкновению, угощала меня картофелем так, что нельзя отказаться, и хлебом (из-за болезни Веры Ивановны хлеба скопилось много). Поговорили о Вас, погрузили, я посмотрел на пустую стену в Вашем углу и ушел, получив приглашение заходить».

С одной стороны жаль, что не поеду в Ижевск. Я мог бы поговорить там с наркомом о возобновлении в Сарапуле художественного училища. Но не надо торопить события, “все придет в свое время для того, кто умеет ждать”...»

Что б Аня делала, если б не эти письма, когда пришла бывшая женщина Стаса.

— Стасика можно? Нету? Когда придет?

— Не знаю, — Аня закрыла было дверь, но женщина вышибла ее из рук.

Пауза.

— Подождать можно?

— Пожалуйста.

Она прошла, уселась, не раздеваясь. Аня взялась читать папку с письмами.

- А ты что здесь делаешь?
 - Тетенька, вы мне не мамочка...
 - Не называй меня так!!!
 - Что, не нравится такая племянница? — наивно Аня.
 - Заткнись, шикса! Я тебе все волосы выдеру!
 - Как? Никогда такого слова не слышала, — тупит Аня дальше.
- Еще одна пауза. Убедившись, что Стасик от нее не прячется, женщина спросила:
- Так где?
 - Я же сказала, не знаю, мне он не докладывается.
 - Не похоже на него.
- Аня пожимает плечами.

«Четырнадцатое окт.

Здравствуйте, Миля! Сегодня Покров, холодное утро. Был на рынке, стряпал еду, приходила ученица, Нина Р. Когда она сидит в моей комнате, мне все кажется маленьким и хрупким: и я, и комната, и вещи в ней. А между тем она не великанша. Предлагает себя в натурщицы для портрета. Я не прочь, она своеобразна и, кроме того, занимает меня своей молодостью. Это она спрашивала меня строго: “Машину продали?” — “Продал”, — виновато отвечал я. “А что купили?” — “Ничего”, — еще виноватее отвечал я. “Надо было валенки купить”, — решила она».

- Что ты за ним бегаешь?
 - Я за ним второй год бегаю, для Вас это новость?
 - Он над тобой смеется, как ты за ним бегаешь.
 - Знаю.
- Аня бы тоже смеялась. Если б это была не она.

«Подал директору программу курсов для учителей рисования. Их все еще нет, учащиеся были в колхозе.

Уже поздно, скоро два часа. В доме абсолютная тишина. На брезенте, расстеленном на кровати, вытянулся Кульбик, положив около себя баранью кость, и пристально смотрит на меня. О чем он думает? Я — его привязанность в жизни, и поэтому, вероятно, я для него умнее, сильнее и красивее всех людей на свете».

— Ты что — его любишь?

Аня смешалась. Никогда не знаешь, что соврать.

— Я не умею обсуждать такие вещи — с посторонними.

— А я не посторонняя. Я ему оч-чень близкий человек. Он говорил тебе, кто я?

— Да. Вторая... жена.

Та кивнула:

— Самый близкий. Первая не так, а мы с ним шесть лет вместе. Я многих у него перевидала, но такую...

— Да-да, он рассказывал!

«Такова сила привязанности и способность ее наделять свой «предмет» всем, что есть лучшего на свете. Я думаю о том, как наделял одного человека всеми качествами, но из этого ничего не вышло, не вышло “сказки”. Человек этот ушел из жизни, а я свою нежность еще не успел растратить. Творить, но для кого?.. Это очень тяжелый вопрос. Впрочем, простите, Вам незачем это знать».

Пришел Стас, Аня подхватила папку и удрала на кухню.

«Читайте, смотрите, учитесь! Больше всего смотрите, даже в те минуты, когда люди, забывшись, закрывают глаза. Но об этом — позже».

Аня удивлялась раньше, что Стас мог найти в этой женщине, которая старше него. А сейчас — блин, да он еще стар для нее. «Я тебе волосы выдеру». Разговоры для пятиклассницы.

Когда-то у нее, наверное, были белые длинные косы с голубыми бантами. Аня помнит таких девочек, они всегда хвастались перед ней хорошей обстановкой квартиры, обновлениями, однако, не у них — у Ани после игр с ними пропадали куклы. Боже, какие обиды вытаскивает она на свет!

Физиологически эти девочки еще не были развиты, а у Ани с одиннадцати лет месячные, она не понимала, о чем все это любопытство из разряда и хочется и колется. У нее был только страх. Девочки кокетничали, чтоб привлечь внимание. Аня — не знала, куда от него деваться.

«7.11.45. Среда, вечер. Письмо третье.

Здравствуйте, милая дочка, ласковая девочка! Наконец-то четвертого днем получил Ваше письмо.»

Бывшая, наконец, уходит, но вместе с ней уходит Стас — проводить; пора бы и Ане домой, она ведь не живет здесь. Ключи можно оставить соседке. Но — если уйдет, уже не вернется.

Будь у нее хоть капля достоинства, она бы ушла. Но она давно променяла его на жизнь.

И все-таки она чувствует себя победительницей. Победа измотала и ничего не дала, но быть побежденной — как можно?

«Ваша двойка за Давида не есть неудача, это недоразумение. Если руководитель ставит всему классу “2”, да еще классу, которого он не знает, это значит, или сам педагог не умен, или учащиеся не захотели у него работать, демонстративно забастовали. Если ни то и ни другое, то выходит, что вся система подготовки не годна, предшественники были плохи, и он, как свежий человек, дал оценку не учащимся, а этой системе. Но это бестактно».

Чертовы письма, не будь их, не было бы ничего, несчастье заразно. Аня прячет их и ложится спать. Стас все равно не вернется до утра. Придет и сыграет ей вышибальный марш.

«Вас ругают, смеются, а Вы смотрите и запоминайте, как люди ругают, как они смеются, как вспышка гнева искажает, уродует лицо.

Я видел статую Давида в музее. Она меня поразила, но не привлек этот тонкий юноша с непомерно длинными руками и большой, чересчур рельефной головой. Меня гораздо больше привлекают “Весна” и “Поцелуй” Родена и далеко не совершенные портретные статуэтки моего идола Паоло Трубецкого».

Стас возвращается около полуночи и сразу ложится спать. Он пахнет духами для блондинок, чужим телом, которое еще ничего. Аня не может заснуть рядом с ним, садится на подоконник. За ледяным стеклом горькая ночь.

Стас спит. Она никогда не привыкнет смотреть на него. Асимметричная грация живого тела. Это боги застылые и идеальные, а Микеланджело изваял движение, неуловимое, неповторимое. Ей и в голову не приходило нарисовать Стаса. Даже наброски по памяти казалось нечестным делать. Его лицо, как река, течет — каждый миг иное; запомнить, уследить — невозможно. Только жить, не отводя взгляда.

«Однако, не довольно ли на сегодня? Уже первый час ночи. Пора, как Алеше Поповичу, опочив держать. Итак, до завтра, милая девочка, спокойного сна!»

Это изумительное счастье. Без флирта, без боязни не понравиться, без предвкушений. Просыпаться, слушать, как он осторожно ходит, одевается; по звуку угадывать, что он делает. Поразмыслив, Аня тоже встает. «Привет!» — «Привет» — сказанные нежно и одновременно.

«Вы чужими работами восхищайтесь, но не очень, а то еще подражать будете чужой технике. Выработывайте свою. Она у Вас есть, пока еще только в рисунке, разрабатывайте ее. А в масле Вы еще ничего не нашли своего».

Вечером Стас спросит:

— Почему ты ничего не расспрашиваешь, о чем мы с ней говорили?

— Я подумала — захочешь, сам расскажешь.

— Я вернулся ведь, правда?

— Да. Самое главное.

«22.11. Четверг.

Вчера получил от Вас письмо, написанное 8.11.

Все отобранные на выставку Ваши работы я считаю вообще слабыми, исключая наброска девочки на пляже, если только отобран тот, из Вашего блокнота».

Надписи по краю носовых платочков: «Вино, если его не пить, умирает». «Запах солнца сквозь стекла — штрихи ожидания».

В промежутках между какими встречами сделаны эти открытия? Стас уходит, она выключает ТВ, поворачивает часы циферблатом к стене. Сидеть и слушать чужие шаги: белые, тонкие, они впрессовываются в тело ступеней, наполняют их; чьи-то голоса стекают по стенам подъезда. Перед глазами обои: дюны, ветер, каждый цветок отдельно.

Стены, которые удержали ее в тот вечер. Почему зло непрестанно помнишь, а память о добром — жадно, как вода в песок, чтоб насытиться — сколько?

Самое ценное в мире — его губы, которые ей отвечают.

«Не вижу ничего замечательного в Ваших натюрмортах курочек с яичком и уточки с цыпленком. Это мотивы немецких открыток, рассчитанных на мещанский спрос. Не хочу обидеть ни Вас, ни Вашего руководителя, тем более что он, по Вашим словам, “хороший учитель”, а просто говорю то, что думаю... виноват! Времени так много, что оставляю письмо до завтра. Мне нужно выспаться, иначе я в нашем адском холоде засыпаю, стоя на уроках. Спокойной ночи!»

Аня понимает омерзение ухоженной и завитой дамы при виде лахудры. Она права. Иногда Аня вспоминает и сама ужасается — старый ковер, прикрывавший выбоины в кафельном полу перед ее постелью. Ранняя юность, которой не изменить. Она помнит все чулки, которые у нее были, каждое слово, сказанное когда-то. Шкатулки памяти, темно-синие, желтоватые изнутри, пыльные, набитые доверху — она никогда их не выкинет, чтоб не попали в чужие руки.

«28.11. Воскресенье.

Здравствуйте, милая девочка! Эти дни не мог закончить письмо к Вам — прихожу с работы поздно, скорей топлю печь, а там ночь — и не горит свет. На днях мне предлагали обязанности руководителя драмкружка в училище, но я не решился. Уж очень перемерзаю за день и к вечеру никуда не гоюсь. С питанием нынче лучше, но с деньгами дело все еще не наладилось. Вы пишете, что живете хорошо, очень рад за Вас».

Начатый Аней рисунок. Ничего путного из него не выйдет, уже сейчас ясно, но она не сможет сделать ничего другого, пока не закон-

чит его — из уважения к той, что отчаянно пыталась жить, не зная, что это такое.

«9.12. Воскресенье, вечер.

Здравствуйте, Миля! Получил седьмого Ваше письмо от 27.11. Долго же я ждал от Вас ответа. Дни так однообразны, что письмо от Вас — целое событие, которое занимает меня несколько дней. Письмо Ваше навело меня на невеселые мысли, в которых все еще не могу разобраться. Вы получили по всем специальным предметам “4”, что же тут плохого? Тройка была бы хуже, она означает круглую посредственность, и лучше получить “2”, чем “3”. Оценка “4” по всем специальностям убеждает меня, что я не ошибся в том, что Вы способны, и если Вы не получили “5”, то это говорит только о том, что не сумели приспособиться под вкус тех, кто ценил Ваши работы. Работайте спокойно, без желания получить поощрение, и все будет хорошо».

Аня не была девушкой. Девочкой. А потом сразу женщиной. Девушкой она стала только со Стасом.

«Очень грустно, что у Вас неприятности, я их и ставлю в связь с получением Вами четверок, относительно же Ваших семейных отношений не беру на себя смелости никого судить и осуждать, так как не знаю обстоятельств всего, что привело Вашу семью к настоящему положению».

«Когда насилие неизбежно, нужно прекратить сопротивление, расслабиться и получить удовольствие», — это Аня от П. В. слышала. Вопрос в неизбежности. Если бы ее не ударили по груди, Аня бы ни за что не сдалась. Но это было так больно и подло.

До того все шло относительно честно, в конце концов, сама вляпалась, вместе с подружкой. Ане и в голову не пришло, что все разыграно по нотам, подружка просто рассчиталась Аней за какие-то свои грехи.

— Выпьете с нами, и пойдете.

Аня отказалась.

— Пей, а то мы отсюда не выйдем. — Подружка сунула ей в руки стакан с водкой, затем хлеб.

Она ушла, а перед Аней загородили дверь. Несколько попыток, чтоб понять, что четырнадцатилетняя девочка не сильнее парня, к торому двадцать один.

Аня села на кровать и заплакала. Он сел рядом, приобнял. Ласковое тепло его ладони даже сквозь куртку. Она грубо вывернулась. Горло жгло от плохой водки. Она пыталась выдышать этот жар.

Дальше помнит пятнами: он уложил ее на другую кровать, одна туфля свалилась с ноги. Снял через голову джемпер, раздел догола.

Она ничего не видела.

— Я просто полежу рядом.

Аня материлась, как сапожник, и брыкалась.

— Не надо — такие слова, — сказал он, целуя ее.

Она прокусила ему губу, была избита. Но испугалась только когда второй мужчина, не вмешивавшийся до этого, стал держать ее за руки.

— Не надо, я буду...

Тот отпустил. Она снова взялась за свое. Ей предложили сделать минет обоим, тогда не тронут.

— Нет.

Второму надоело, он ушел.

Сейчас — милосердная память дает отстраненно.

Когда она сдалась.

Рожать — наверное, легче, чем ждать, когда все закончится.

...Теперь.

До моря пять кварталов. Она не умеет плавать. *Нет!!!* Она была потрясена своим стремлением жить.

Тогда Аня попробовала заплакать.

Он спросил: «Зачем? Уже ничего не исправишь». Он был прав; она перестала.

И попросила:

— Поцелуй меня.

Ее не целовали до этого. И так — бесконечно и нежно — больше не будут.

Единственная точка в черноте этой ночи.

Он сказал:

— Перейдем на другую кровать, здесь все сбито.

Отказ. Он взял ее на руки и перенес. Спать.

Открыла глаза — все та же ночь. Он сказал: «Еще раз». Воевать не было ни сил, ни смысла. Но ей действительно было невыносимо больно. Тогда он сам лег на спину.

Как долго.

Она шевельнулась.

— Еще чуть-чуть.

Своя покорность была ей внове. Потом он спросил ее о чем-то.

— Какое — все болит.

— Но — хоть боли приятные?

— Разве боль бывает приятной?

Сейчас она была старше него.

«В классах начали топить, но не во всех. Дома топлю по вечерам дровами, которые покупаю санками на рынке. Из-за отсутствия света у меня не ладится с курсами учителей рисования. Смешно, курсанты будут получать сто восемьдесят р. стипендии, а я сто девяносто два. Да я согласился из-за чести. Мысль-то о курсах моя была передана наркомму и сейчас все утверждено и надо начинать. Ну, до свидания, милая девочка, желаю успеха и здоровья».

Шесть утра; отец не спал, раскладывал пасьянс.

— Ешь.

Он поставил перед ней запеканку с сыром. Показалось ей, или макаронны на самом деле были пересолены, но у Ани до сих пор во рту вкус этой соли. Она поела и легла лицом к стене, накрывшись подушкой. В соседней комнате родители разговаривали о чем-то, мать, пришедшая с дежурства, убеждала: «Да нет же», — но отец все-таки вошел к Ане в комнату.

— Ну, чего? — обернулась она. — Я спать хочу.

— Видишь, все нормально, — сказала ему мать, — иди на работу.

Порванные чулки Аня успела выбросить еще на улице. Вечером ей устроили допрос, но она говорила:

— Никто не обижал, да что вы пристали, другие неделями дома не бывают, а тут из-за одной ночи...

Предки переглянулись:

— Ладно.

«Если папа не сделал для Вас чего-нибудь, значит, не мог, не надо о нем думать плохо. Обеспечить Вас он, безусловно, обязан».

Какая же Вы эгоистка, если говорите в письмах о себе. Если Вы мне будете в письмах писать не о себе, а о “чужом дяде”, так это будет неинтересно для меня».

Павлику она сказала:

— Помните, Вы говорили, что нельзя садиться в машину к незнакомым?

— Ну?

— А я села.

— И?

— Ничего страшного.

Он посмотрел на нее, потом на часы: «Мне за дочкой в садик надо, а они тут дискотеку устраивают, так ты дашь им вот этот магнитофон и можешь идти».

Аня никогда не пользовалась косметикой, и ей казалось, что на макияж обратят внимание быстрее, чем на следы от поцелуев и кровоподтеки.

«О деньгах говорить преждевременно, разбогатею — поступлю как хочу. Вы мне ничем не обязаны; не будем вообще говорить об этом. Вы, может быть, думаете, что я расту от Ваших признаний, что Вы “обязаны” и проч. Делаю что могу, если смогу, сделаю больше. Точка. Летом Вы подумали обо мне не то, что нужно, но в этом виноват я сам, и мне теперь только весело. “Все проходит”».

Сейчас Аня понимает: все всё знали. Но никто — ни словом, ни жестом — не показал ей этого, и она жила спокойно: ничего не случилось.

«Новый натюрморт с Аполлоном мне нравится. Только и трудные же вещи Вам ставят. Ведь одна голова Аполлона уже много, а тут еще и хламу разного нагородили: и эскиз в раме, и книга, к чему все это?»

Что бы она рассказала сейчас о Стасе — Павлику? Ничего. Его это не касается. Как, впрочем, и наоборот. Помогший ей удержаться — неужели П. В. не имеет права на ее радость? Нет. Потому что не удержится от оценки, сравнения, не сможет не вспомнить того, что

было. Она сама не сможет не вспомнить, что он знает. Аня ненавидит всех, с кем была тогда знакома. Она уехала из того города. Даже с родителями не хочет встречаться.

«31.12.45, девять вечера. Добрый вечер, Миля! Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и от всей души желаю Вам здоровья, успехов и еще раз здоровья! Двадцать шестого отправил Вам перевод, полагал, что Вы на меня за это не рассердитесь. Пусть это будет Ваш долг, который после вернете. Хотел бы только, чтоб Вы к Новому году купили себе что-нибудь сладкого».

Анна не думала, что так получится. Ну, выйдет замуж не в восемнадцать, чтоб не отчитываться перед мужем, а в двадцать один, двадцать два она будет совершеннолетняя даже по европейским меркам, кому какое дело до ее девственности? Не думала, что будет считать — семь, восемь лет с той ночи, девять, девять с половиной... Как если бы сама отсидела за собственное изнасилование.

«Вам хочется домой? Понимаю, но прерывать занятия до будущего года нельзя ни под каким предлогом. Если б Вы проучились два-три года, тогда еще можно, а Вы сейчас стоите нетвердо, школы еще нет, и из самостоятельных занятий ничего не выйдет. Одного желания работать мало, нужна среда, окружение, живущее одними интересами, да и руководители подчас тоже нужны. Другое дело приехать на каникулы, это Вас развеет. Билеты мы Вам с бабушкой как-нибудь обеспечим, — она разматает клубок или вывернет свой чулок, а я продам Кульбика на колбасу или женюсь на богатой. Скорее, последнее, т. к. Кульбика мне жаль».

Сокурсница выходила замуж перед ноябрьскими праздниками и первое, что она сказала, появившись через неделю:

— Девочки, я еще девочка!

Аня даже завидовать ей не имела права.

Она перестала считать ночи, проведенные рядом со Стасом, так — не зная, наказание они или награда. Просто — еще одна греза шлейфом тянулась из полудетства. И все мечты, что еще не сбылись, рады: настанет и их черед.

«Вообще не хандрите, все это после будет казаться забавным, держитесь крепко. Откуда я беру силу в “борьбе с жизнью”? Коротко — из постоянного интереса к ней, из общения с природой, от чтения моих любимых поэтов и писателей. Саврасов, прославившийся своей единственной картиной “Грачи прилетели”, ходил оборванцем, но никогда не жаловался на жизнь, а уходил за город и часами лежал на берегу реки, любуясь на природу, и это ему давало громадную силу жить при всех обстоятельствах».

Аня говорит: «Ласковый». Стас: «Да? А я думал, что неласков...» Ане кажется, она сейчас вскрикнет. Да, неласков, неласков, но — ей самой приходится перемогать себя, чтоб дотронуться до него.

— Меня с детства не приучили, понимаешь... до сих пор не могу привыкнуть, что рядом со мной женщина. Вот ты ложишься рядом, всё... Я столько жил сам по себе.

— Я точно так же не могу привыкнуть, что рядом мужчина.

«Я вот рассчитывал на каникулах побывать в доме отдыха, а мне отказали из-за пустяков, но я не унываю, хотя столовая наша закрылась. У Ваших в течение месяца был только раз — избегаю в худой обуви ходить по морозу».

Мысли уходят от этих писем, как окружность от касательной, и опять возвращаются. Диаметр — полвека. Письма — как зеркала, Аня смотрит в них, тонкая амальгама того-что-было поспешно подбирает соответствующее изображение: зеркало никогда не застаешь врасплох. Ане хочется подойти незамеченной — что оно рассказывает само себе, когда в него никто не смотрит? Что из того, что Аня никогда не увидит? Надписи на надгробиях героев, заросших сиренью, книги, которые читал Гнедин? Или всегда все то же — холод, Кама, валенки, пьянство?

«8.1. Недавно пришел от Ваших. Ели пельмени, пили ячменный кофе. Сима не выдержала и уснула. Ваши все здоровы, разговоры только про Вас, особенно часто о Вас говорит бабушка. Я сегодня присмотрелся к ней и подумал, что в молодости она была очень интересна и своеобразна, у нее характерное, старинное лицо из какого-нибудь рассказа Мельникова-Печерского».

Иногда зеркало — единственное, что мирит Аню с собой. Когда-то она наивно сказала Павлику: «Я красивая». «Ты? Красивая?» — от души просмеявшись, П. В. — Ох, давно я так не веселился!»

Закончив один рисунок, Аня не знает, о чем будет следующий, она верит, что только раскрывает в бумаге то, что та, как замерзшее стекло, таит за своей белизной. Она едет к Стасу осточертевшим маршрутом и мечтает, чтоб автобус проскочил мимо остановки, но шофер исправно тормозит каждые две минуты.

«У нас теплая погода, снежок, иногда буран. Каникулы провожу печально, не дали зарплаты за декабрь. Кульбик все спит, а я читаю да курю.

9.11. Наконец-то получил письмо от Вас, девочка. Рад, что у Вас все благополучно. Привет Вашей новой подруге! Если действительно хорошая девушка, почему и не подружиться? Ну, желаю успехов. Приезжайте. Жму руку».

Иллюстрация к евангелию. Присутствующие отворачиваются, стыдясь, когда она ставит ноги Иисуса себе на колени, совершая обряд второго рождения. Лгут те, которые верят, что они любили друг друга. Но Он не мог ни умереть, ни воскреснуть, пока вторая Мария не подарила ему еще одну жизнь.

Бог создал Человека и дал ему в жены Жизнь — адам и ева нарицательные имена.

«8.4. Здравствуйте, милая девочка! Я не ответил на два Ваших письма по простой причине — болел и хандрил. Сапоги без подошв, полны воды, сам оборван до последней степени. Заболел сильно бок, так, что я думал, будто это воспаление легких, а в моем положении болеть нельзя. Я однажды слег на двое суток, так не пил, не ел, не зажигал огня, не топил печки, и ни одна душа не заглянула ко мне. Кому я нужен?..»

Очень долгий период, когда она каждый вечер боролась с желанием прийти и сесть у него под дверью. Наконец все-таки вошла в знакомый подъезд. Он открыл.

— Я сошла с ума. Я люблю тебя. Все. Больше я не приду.
Стас молчал. Аня решила, что он не расслышал.

— Извини.

Спустившись на пролет, обернулась. Он все так же стоял на пороге и — вспыхнуло — его руки. Все обрушится, а она будет восхищаться.

— Анна. Что ты, я ведь не обиделся.

Еще через три дня. Аня спряталась на подоконник за шторы. Она не могла его видеть, отвыкла. Полтора часа диалога ни о чем. Она решила уйти.

— Подожди, ты вся в известке.

Он отряхнул ей плечо.

— Специально — чтоб ты потом оттирал.

Неожиданно это его пробило.

«Бросьте Вы это слово “сердитесь”, я никогда, ни на кого не сержусь. Бросьте и этот случай с ненормальным человеком, он дурак и психопат, какое мне дело до него? Если бабушка и мама придерживаются мещанских взглядов и не допускают иных отношений, как только “влюбиться” и “погубить”, то в этом виновато их воспитание. Но, извините, глупее этого нечего было выдумать, поэтому оставим все это».

Те, кто продирается сквозь этот текст, — не склеивайте осколков, потому что даже кувшин, когда его поворачиваешь — чуть-чуть — нужным боком, смотрит с надеждой: «Я вам нравлюсь?»

«Несколько дней назад я получил костюм и починил ботинки, и теперь другой, и внешне, и внутренне. Так что даже могу “влюбиться”, т. е. стать “мальчишкой” по определению бабушки. Я бы мог это сделать четыре года назад, но память прошлого еще сильна, да и где я найду девушку, ради которой, как в сказке, можно износить железные башмаки. Ведь я не найду той, которой бы писал стихи, рисовал, лепил, читал вслух хорошие книги и изредка целовал бы руки. А иначе и не представляю».

Ранняя ночь на кухне, Аня включает свет — Стас спит, — садится рисовать и берет в сообщники свои шпильки на старой клеенке, шторы и тишину. Она не знает, зачем пригодится этот вечер, она любит его, вот, всё.

Аня пытается понять, что может рассказать о своем хозяине домашний цветок, люминесцентная лампа — то, чего она не знает. Она рисует, оглядываясь на них? Да. С улыбкой. Когда приходит счастье — его принимаешь как должное.

«Меня не тяготит одиночество, да и в девушек я не верю (я их две сотни вижу каждый день). Сейчас у меня забота привести в порядок комнату, восстановить цветы на окне, себя привести в порядок, а там будет тепло, много чудесных солнечных дней, лунных ночей, когда я сижу у окна и думаю или читаю».

День, насквозь пронизанный его взглядами — если б она могла свернуть этот свет, как одеяло, а потом укрываться им, засыпая. Какое чудо, что он до бесконечности будет ждать, когда Аня дойдет до той степени отчаяния и желания, что забудет все — недоверие, стыд, наконец, станет взрослой.

«И охота Вам всякую чепуху писать “может погубить”, “не такой мелочный”, “что произошло”. Да ничего не произошло! Бок вот болит, как иглой покалывает, побудешь шесть-восемь часов в нашем холоде и стараешься скорее лечь. А тут еще света нет. Вот и все, что мешало мне писать. А почему не дописано Ваше письмо? Уснули?..

Пишите, желаю успехов!»

Скажите, слово «преданность» от «предаться» или от «предать»?

«7.5. Вторник. Милая девочка, сердечный привет!

Получил Ваше хорошее письмо в воскресенье, отвел уроки и сходил к Вашим. Скоро Вы приедете, и мы, конечно, будем бродить по Каме, я уже думал об этом. А плакать над письмами не надо, не о чем... Ну, вот и хорошо — придете, когда приедете, и поцелуете, и все».

Итак, в то бесконечное время, когда листья деревьев еще игрушечные, а небо на закате не имеет цвета — конец апреля, сегодня жара, а завтра выпадет снег; жизнь катастрофически прекрасна. Между особняками византийского стиля — флигель с датой «1963» — они не ошиблись веком?

Семь утра, мужик в спортивных штанах опохмеляется, любуясь видом на Каму; женщина за рулем прилежно тормозит на пустом перекрестке.

«И я желаю Вам в будущем хорошего, большого друга, но... Это успеется, а школу надо окончить!»

Представьте, я иногда заглядываюся на девушек издали, думая: какое милое лицо, какое чистое существо, иногда приятно вспомнить это лицо дома, но вдруг это “милое существо” выкинет какую-нибудь глупость и с меня сразу все сползет. Увлекаться очень хорошо, но... Идешь по улице, видишь очаровательный уголок сада, а подойдешь ближе, там дохлые кошки валяются. Тут важно одно: если еще способен увлекаться, значит, способен жить».

В 1948-м Миля выходит замуж, потом Кульбик попадет под грузовик, Гнедин запьет, из запоя вывести его не удастся. Сердце.

«Мне предложили ученика, мальчика второго класса, способный, живой. Буду заниматься. На первое мая не спал, дежурил, рисовал большой портрет Ленина. Беда, совсем нет кистей, одни огрызки, работать нельзя».

Вокруг нее слишком много художников, — сводный брат, троюродный — или люди придают слишком большое значение умению переносить образы на холст? Голубой лес под черным небом. Нужно только успеть запомнить и не слишком наотсебятничать, повторяя. Лицо на фотоснимке стандартно очаровательно, но Анна закрывает ладонью одну половину — и читает горе; закрывает другую — отчаянье.

Может, она не права. У Анны нет за плечами бабушки из купеческого рода, дореволюционных открыток. Как гордиться тем, к чему не имеешь отношения, тем, чего не достиг сам?

«Согласен, Риту привозить не надо, это испортит отношения с бабушкой и мамой, и лето будет испорчено. Рита зла, потому что голодна, но киностудия... Это очень легкомысленно, ясно, девочка неустойчива или устала бороться. Что делать? Пожертвовать своей симпатией к ней, чтоб самой не скатиться... до киностудии.»

Венеру Милосскую приветствую. Прежде чем рисовать, посмотрите в библиотеке, как ее изображали другие художники — ее трудно поставить, уж очень она внушительно-спокойна. Прошел слух, что в Удмуртии восстанавливается художественное училище, но где, в Сарапуле или в Ижевске?»

Крупная бабочка сидит на руке, выгибает, вспархивая, крылья, скручивает хоботок. Анна медлит зарисовать ее. Впервые — благодарность родителям, что ее не отдали в художественную школу. Хуже нет. Иметь прилежание, душу, разум, не выходя за грань ремесла к самоубийственной щедрости тех, кого называют талантливыми. Но талантливых нет. Каждый делает только то, что сделает, и если Полстовалова проиллюстрировала ее детские книги — уже достаточно.

«Ну, желаю Вам успехов, слушайте старших, живите спокойно и весело. Ваш Гнедин.

P.S. Еще об увлечении. Когда увлекаешься, к предмету увлечения надо подходить не ближе точки, с которой его можно нарисовать».

— Почему ты выбрала меня?

Стас не запомнит ответа, пьяный. Да и ответа нет.

— А дальше? Дальше? Чем больше ты меня узнаешь?

— Дальше — слаще.

Анна знает, что врет, она смотрит на свои руки в его руках и боится верить. До чего же она глупая и невыносимая. Разве она виновата в этом?

Анна засыпает у себя дома, в его рубашке, и не понимает, отчего ночь пуста без него. Ей снится книга, она листает ее, не может запомнить, сквозь течение мерцают буквы, летописи, легенды — белые на бирюзово-зеленом, они оставляют прохладу на пальцах. Выпуклые слова, еще не стертые тысячами прочтений и взглядов — только что отчеканенная судьба, чей-то профиль на обороте.

«Трезвое, будничное настроение овладело мной, и мне стало стыдно всего, что я говорил у Волчаниновых, и по-прежнему стало скучно жить». Чехов, «Дом с мезонином».

В самом деле, мне стало скучно жить. Вы писали мне чудесные слова, и я радовался, что у нас возникает красивая дружба, но вче-

ра я увидел ясно, что все это мои фантазии, что Вы не откровенны со мной, насторожены и делаете из каждого моего слова и поступка какие-то свои, непонятные мне выводы и, в сущности, оскорбляете меня».

Только гораздо позже — на каком чудовищном самообмане держалась. Она видела только то, что хотела видеть. Ряд фигур, характеров, тряпичных кукол выставлен на тонкой доске; она прогибается между двумя чурбачками — скамья, которая называется драматургией.

— Я боюсь обломаться. Что ты меня обманешь.

— Я тебя никогда не обману. Ни с кем.

Какую страшную вещь она сказала. Клясться в верности мужчине, с которым не спишь.

Провожая ее, лицо в ладони: «Твой запах».

— Такие вещи — разве можно говорить...

— Возможно, — обрывает он ее. — Есть одно правило... я буду ему следовать.

«Объяснять еще раз мое отношение к Вам было бы излишним: за два года его хорошо можно было понять. Я хотел видеть в Вас только мою музу, и отношение мое к Вам никогда не переходило известных границ. Я восхищался Вами как большим творением, в котором есть частичка и моей души, зачем же Вы старались сделать мне больно, истолковать мое отношение в дурную сторону? Не проще ли было указать мне свое место, сказать честно: “Вы для меня уже не представляете интереса, расстанемся друзьями”. И все — я бы ничуть не обиделся и сказал бы — она права, она чистая и умная девушка!»

— Да что ж это такое... — Анна сидит на корточках в прихожей и не может встать, чтоб уйти, ее трясет.

— Домой приедешь, градусник есть? — Стас.

— Я абсолютно здорова.

Это желание.

Анна не знает, что ощущает мужчина, но ее это стремление — и знание, что и сегодня она не станет твоей, — изматывает и опустошает. Она живет и не замечает ни за горем, ни за счастьем, как пресна и безвкусна пища.

«Помните, я писал Вам: “Я думаю о Вас часто и всегда хорошо!” Но я ошибся в Вас и потому еще раз говорю себе: мне стыдно! Живите без разочарований! Разменяемся нашими письмами, чтоб между нами не осталось ничего. Всё!..»

Ты у нее — впервые. Дом, полный тобой, твоим голосом. Готовить для тебя. Сидеть рядом с тобой, чтоб не заплакать от того, что сказал, что уедешь раньше, чем предполагал. А она думала, ей все время так. Ты дал ей день жизни.

«А у тебя сон беспокойный», — сказал, смущаясь. Ей снился ты. Золотое ожидание сквозь сон: она будет любима.

«Давай, в тепле пока, обнимемся». Для нее, всегда целовавшей первой, — твои раскрытые руки. И прошептала в мягкую куртку: «Я была счастлива, что ты приехал».

Не снежинки — звезды устилают землю молчанием.

«P.S. Но как же мне стыдно самого себя, точно я и в самом деле сделал что-то дурное... 16.8.46 г.»

Анна дремлет. Приходит Стас, наклоняется над ней, она приподнимается на локте ему навстречу.

— Спала бы — я просто поцеловать хотел. А ты что-то не то подумала. Что я насильник... меня прямо куражит, когда слышу про такое. Правильно, что с ними в зоне делают... опускают.

Хорошо. А что делать с их жертвами? Убивать? Ее будто хлестнуло этим словом. И зря она думает, что, переспав со Стасом, все забудет.

Он целует, ложится рядом, кладет ладонь ей под щеку, задерживает взгляд на уголке одеяла, которым прикрыта грудь, — Анна закрывает глаза, — обводит пальцем контур губ.

«29.10.46. Здравствуй, милая девочка! Сегодня получил твое письмо. Ждал я его больше месяца, решил, что ты рассердилась и не будешь писать, так как я действительно не оставил от тебя ни косточки. Но я рад, что мое письмо пробрало тебя до костей и ты “чувствуешь себя провинившейся маленькой девочкой”. Так ты мне часто представляешься: сидишь поздно вечером в углу за шкапом на стареньком сундучке в позе васнецовской “Аленушки”

и думаешь горькую думу о жизни. В трудное время ты учишься, иной раз мной овладевают малодушные мысли — хорошо ли я сделал, что толкнул тебя на эту дорожку учебы, а с другой стороны, не представляю, что с тобой было бы, если бы ты не уехала учиться».

Ты мой муж, я твоя жена. Я замужем за тобой. Ты не друг, не жених, не любовник. Ты мой муж. Анна пытается понять, что означают эти слова, их не было в ее языке раньше. Его рука на ее бедрах. Или — Анна на самом деле такая маленькая?

«Ну как тебя не ругать. Читаешь ты какую-то старую рухлядь, а “Войну и мир”, наверное, все еще не дочитала.

Вот и живи “для жизни”, в ней много радостей. Ты молода, талантлива, а это все. Можно и “немножко о любви”. Только до зарезу влюбляться не надо, задумываться будешь часто и долго. И делать в рисовании ошибки. Если мальчик влюблен, это неплохо, тем более если не навязчив, не груб. Пусть его любит и письма пишет. Я в Перми влюбился издали в гимназистку, так все поля “Истории средних веков” изрисовал ее профилем и потому, вероятно, до сих пор не знаю истории Средневековья. Познакомился с ней, раз прошелся по улице, а на другой день увидел ее в обществе блестящего гимназиста. Вскипел ревностью и перестал ей кланяться.

Влюбился раз в Раичку Андрееву, дочь купца в нашем селе. Пользовался взаимностью. Когда встречались, то молчали, а потом друг Володька передавал впечатления от встречи и письма друг от друга. После ее выдали замуж, и она умерла от чахотки. Ты прочтала письмо и спрашиваешь: А что дальше будет? Да ничего. Пусть он восхищается тобой издали и наберется терпения до окончания школы. А, в общем, все это не любовь, а... любопытство. Во всяком случае, с твоей стороны: “А что дальше будет?”»

За ночи, сплавившиеся с днями, Анна забыла, что существуют другие мужчины, кроме Стаса, и, выйдя, наконец, на улицу — вздрогнула от чужих темных глаз. Целомудрие, которое Стас возвратил ей. Неужели они все знают об этих ночах, белых от нежности; все им знакомо — открывающееся ей только сейчас.

азбука ощущений
его сердце с бешеной скоростью над ее ладонью
неужели для всех одинаково или
то, что она никому не расскажет, никогда не будет известно
ее тело повествует не о себе
а о его ласке.

Анна закрывает лицо руками и отворачивается от зеркала.

И как невозможно и грешно писать о любви, равно как и о боге, но — она берет и проводит по зеркалу вертикальную черту; сама не знает, что от чего отделяет, но верит, что все остается за линией — и опять, с полунервной дрожью берет лист и рисует. Пишет.

«P.S. В день Вашего ангела приду на Песьянку¹ и поцелую вместо Вас суконную варежку Симы. Вы довольны?»

¹Район в Сарапале, где жила Миля.